

Виктория Донован

**Быть «культурным»:
повествовательные конструкции
провинциальности в устных рассказах
жителей северо-запада России¹**

В статье, появившейся недавно на сайте журнала «Скепсис», посвященного текущим российским событиям, Иван Лещинский [2008] описывает новую форму человеческой жизни, которая, по его мнению, стала результатом вырождения населения российской провинции. Наполовину Одномерный Человек (существо в унифицированной одежде, с унифицированными мыслями и поддельными желаниями, изображенное Гербертом Маркузе в одноименной работе), наполовину неграмотный крестьянин царской России — таким рисует Лещинский россиянина из глубинки, образ которого задумывался как полемическая критическая репрезентация культурного вырождения за пределами столицы. Однако даже если подобные тексты и призваны раз-

Виктория Донован
(Victoria Donovan)
Оксфордский университет,
Великобритания
dovonavictoria@googlegmail.com

¹ Исследование выполнено в рамках проекта «Russian National Identity since 1961: Traditions and Deterritorialisation» под руководством проф. Катрионы Келли (Нью-Колледж, Оксфорд) при финансовой поддержке British Arts and Humanities Research Council (AH/E509967/1).

двинуть границы политкорректности, как утверждает журнал, укорененность негативного стереотипа провинциальности в русской культуре может означать, что статья Лещинского не является такой уж полемической, как задумывалось. Комичный, неотесанный мужлан из глубинки — хорошо знакомый персонаж русской литературы и искусства; можно предположить, что этот стереотип является неотъемлемой частью культурного сознания современной России и до сих пор определяет представления простых людей о жизни за пределами столиц.

Общепринятое значение терминов «провинция» и «провинциальный город» в России претерпело значительные изменения с течением времени, отчасти благодаря тому, как изображалась жизнь за пределами Москвы и Петербурга в литературных произведениях и в искусстве. Сначала «провинция» являлась бюрократическим термином, появившимся в результате административных реформ, проведенных в 1707 г. Петром I. К концу XVIII в. термин приобрел более разговорное значение. Согласно Клубковой и Клубкову [Белоусов 2000: 27], которые проследили эволюцию стереотипа провинциальности в истории русской культуры, идея «провинциальной отсталости» сформировалась как раз позднее, в царствование Николая I (1825—1855). В эту эпоху провинциальный город обычно располагался на самой нижней ступени шкалы культурных инноваций, ниже *губернии* и *столицы*. Можно, однако, предположить, что это представление восходит еще к язвительным карикатурам на привилегированное провинциальное мелкопоместное дворянство в «Недоросле» (1782) и «Бригадире» (1769), а потом достигает апофеоза в «Ревизоре» (1842) и «Пошехонской старине» (1887—1889)¹.

Негативные стереотипы русской провинции в значительной степени сохранились и в постсоветский период. Доказательством этому может служить, например, эзотерический лексикон сетевой субкультуры *падонков*, для которых провинциальный белорусский городок Бобруйск стал синонимом «исторической помойки», куда попадают малоадекватные результаты творческих усилий [Байбурин 2008]². В статье о современном

¹ Благодаря «Пошехонской старине» Михаила Салтыкова-Щедрина название «пошехонцы» стало общепринятым для обозначения жителей провинциального района Пошехонье (сейчас — в Ярославской области). По аналогии с шутивным прозвищем ирландцев «Пэдди», слово «пошехонцы» стало синонимом провинциальных проявлений идиотизма, таких как пасти коров на крышах, заглядывать в дуло ружья или пытаться подоить своих куриц.

² Все это выражение целиком, используемое для отсылки к другим попыткам создания более интеллигентного «креатива», звучит так: «В Бобруйск, животное!». Уэльский провинциальный городок Лэнддеви Брефи, ставший известным всей стране как родина «единственного гея в деревне» благодаря культовому телевизионному сериалу «Маленькая Британия», также может служить прообразом провинциального захолустья.

городском фольклоре Ирина Разумова [Белоусов 2000: 291] отметила тенденцию маленьких городов преувеличивать свою историческую и культурную специфику в рамках борьбы с негативным имиджем провинции и оправдывать свою автономность и политические права. По мнению Разумовой, стремление подчеркивать специфику местной культуры — проявление самозащиты, призванной компенсировать ощутимую культурную пропасть между центром и периферией.

В последние годы особые местные «знаки» и «символы», являющиеся основой представлений жителей о месте их проживания, стали предметом нескольких антропологических исследований провинциальной культуры России [Абашев 2000; Ахметова, Лурье 2004; Paxson 2005; Топоров 1995]. По мнению Марии Ахметовой и Михаила Лурье, эти семиотические исследования местных «текстов» по крайней мере отчасти повлияли на отход от «древнего» и «деревенского» и способствовали обращению к современной городской культуре. Семиотические и текстологические методы, конечно, помогают понять изменения, которые в течение какого-то времени претерпевала местная культура, между тем это не означает, что тексты являются единственным источником информации о внутренней семиотике культурного ландшафта. Как поясняет В.Ф. Лурье [1995] в статье о роли памятников в культуре современного маленького города, представления, неофициальные ритуалы, а также устные традиции (шутки, мифы и легенды) определяют отношения между человеком и его культурной средой ничуть не меньше, чем официальные дискурсы, транслируемые в печатной продукции.

В данной работе устные рассказы жителей Новгорода, Пскова и Вологды являются основным источником для размышлений о том, как в повседневных разговорах конструируется (или деконструируется) понятие провинциальности. Проведенный анализ, который я разделила на три тематические части, представляет собой непрекращающийся диалог на несколько больших тем, связанных с провинциальной идентичностью в советской и постсоветской России. В первой части рассматривается вопрос о том, как ощутимый провинциализм небольших городов становился предметом романтизации в повествованиях городских мигрантов, переехавших в провинцию в 1960-х и 1970-х гг.; вторая часть посвящена анализу того, как информанты относятся к провинциальным стереотипам и как эти стереотипы деконструируются с помощью приемов самоиронии; в финальной части я обращаюсь к инверсии традиционного противопоставления столицы и провинции в рассказах информантов, а также к следствиям этих стратегий для понимания ими самих себя и своих сообществ.

Краткое введение в устно-историческое исследование

Основным источником для этой части работы стало исследование по устной истории, проводившееся с начала июля по конец сентября 2009 г. в Новгороде, Пскове и Вологде — городах российского Северо-Запада, возникших еще в эпоху Средневековья. Исследование проводилось с использованием полуструктурированных интервью, в которых был затронут ряд основных тем моей диссертации о провинциальной идентичности и культурной памяти в период после 1961 г. Эта тематика включала восприятие повседневной жизни в русской провинции; демаркацию и понимание городского пространства; порождение на повседневном уровне и увековечивание местных мифов и традиций; восприятие изменений (как на физическом, так и на духовном уровне) в небольших городах; отношения со столицей, а также стратегии самоэкспонирования (для чужаков и «местных»). Интервью проводились автором настоящего исследования, а в Новгороде мне помогала местный этномузыковед Светлана Подрезова; в ходе написания работы тексты интервью транскрибировались и архивировались.

Работе по устной истории предшествовал год разысканий в этих городах, в течение которого я установила контакты со многими людьми (у них я и брала интервью следующим летом). Однако тогда я в основном общалась с работницами городских библиотек и архивов — женщинами средних лет со специализацией в области иностранных языков или литературы. Понятно, что они представляли совершенно нерепрезентативный слой местного общества. Начав следующим летом собственно полевой сезон (интервьюирование), я почти не сомневалась в том, что легко преодолеем разницу в доступе к информантам-мужчинам (в основном «синим воротничкам») и информантам-женщинам (в основном «белым воротничкам»). Между тем оказалось, что убедить мужчин дать интервью гораздо сложнее. Это было связано не только с моим статусом молодой иностранки и ощутимой этической двусмысленностью, возникшей в ситуации частной встречи с мужчиной для разговора о его прошлом опыте и личных «воспоминаниях»¹. Возможно,

¹ Мое определение целей интервьюирования менялось по ходу работы, приобретая новые черты и акценты в зависимости от того, как реагировали информанты. Так, я очень быстро отказалась от своего первоначального определения данного проекта в качестве «изучения провинциальной культуры», после того как несколько человек отказались давать интервью, мотивируя это тем, что их знания местной истории слишком обрывочны. Смещение акцентов с темы «местной культуры» (по всей видимости, это вызывало ассоциацию с историческими датами и деятелями, которых изучают в школе) к теме «местные воспоминания» дало более продуктивные результаты, хотя некоторые информанты, особенно в возрастной категории от 60 до 80 лет, продолжали сопротивляться, утверждая, что их воспоминания о прошлом совершенно банальны или что они почти ничего о нем не помнят.

еще более значимым препятствием стало отсутствие подходящей обстановки для ведения бесед с мужчинами, в результате чего успех этих интервью оказался довольно ограниченным.

Если домашняя обстановка (особенно кухонные посиделки) оказалась естественным антуражем для интервьюирования женщин, то для мужчин такого «специального» места не нашлось. С ними было труднее добиваться возникновения доверительной атмосферы, которая создавалась бы только благодаря тому, что ты пришла к нему в дом, или церемониальному чаепитию с тортом. Чаше в разговор с информантом-мужчиной вмешивались другие собеседники (и тогда он терял статус индивидуального интервью). Иногда это был обмен репликами на бегу или чуть более длительное общение во время перерывов, а также шумные визиты в местные кафе. Наверное, единственная беседа, максимально близкая по качеству к многочисленным длительным и доверительным разговорам с женщинами, — это интервью с довольно пожилым Иваном Лебедевым на его даче под Псковом. Ухоженный сад хозяина предоставил нам менее гендерно окрашенную домашнюю обстановку, в которой мужчина мог высказываться гораздо легче и охотнее, чем в других «домашних» пространствах.

Что касается собственно проведения интервью, то полевой опыт не совпал с предшествовавшими теоретическими построениями. Первоначально я планировала делать объемные полуструктурированные интервью, но мне пришлось пересмотреть свою тактику, поскольку в результате получался непродуктивный диалог с постоянными запинками. Кроме того, некоторые вопросы, которые, по моим представлениям, должны были спровоцировать оживленную беседу, вызывали смущение и даже раздражение. Например, прямые вопросы о наличии и природе местных стереотипов часто отменялись под предлогом показной политкорректности, иногда ответы на них давались механически, при этом в сторону «нескромного интервьюера» бросались испепеляющие взгляды¹. Попытка работать вместе с членом местного сообщества (Новгород) потребовала еще большей гибкости. Спонтанные отступления, основанные на общих одного из интервьюеров и информанта воспоминаниях, оказывали существенное влияние на направление и развитие разговора. Этот процесс можно проследить в интервью, он заметен в меняющейся структуре рассказа и смене его тематической направленности.

¹ Интересно, что этот вопрос вызвал явно негативную реакцию лишь однажды, когда его задала своей бывшей учительнице моя коллега Светлана Подрезова. Ответ последней был: «Света! Это что за вопрос?!» Если подобная бестактность воспринимается терпимо из уст непросвещенного иностранца, то от земляка она звучит чуть ли не оскорбительно.

Время проведения данного исследования — конец 2000-х гг. — можно считать моментом относительной политической стабильности в бурной истории постсоветской России. Политические распри начала 1990-х, превратившие провинциальные города (такие как Новгород, город со средневековой историей) в «филиалы Чикаго», если воспользоваться названием недавнего исследования этих бурных лет [Григорьев 2008], кажется, уступили место своего рода соглашению между проворовавшими местными властями и ворчащим, но в основном пассивным населением. Между тем этот период отмечен усилением чувства беспокойства и незащищенности. Большинство семей в тех городах, где я проводила исследование, столкнулись с уменьшением своего ежемесячного дохода в результате сокращения рабочего времени или урезания зарплаты, а некоторые информанты высказали искренние опасения по поводу того, что страна и ее жители могут повторить болезненный опыт дефолта 1998 г.

Трудно определить, насколько повлияли эти условия на то, как люди рассказывали о себе и своем прошлом. Если согласиться с Берто и др. в том, что «автобиографическая искренность» недавней постсоветской эпохи уступила место более позитивной коллективной памяти о советском прошлом [Bertaux, Thompson, Rotkirch 2004: 7], многое из «разговорных стилей», описанных Нэнси Рис в ее работе по эпохе перестройки, встречается и сегодня. Так, «сакрализация частной беседы» [Ries 1997: 20], которую Рис считает продуктом авторитарного советского режима, не позволявшего высказывать свои мысли открыто, остается важным для «продуцирования ценности» в современной российской культуре. Перестав быть убежищем от идеологического давления, частная беседа в постсоветский период сохраняет свою ценность в качестве значимой альтернативы тому, что многими воспринимается как пустая, неискренняя риторика общественной жизни.

Не стоит удивляться тому, что современные голоса являются автореферентными, тому, что они возвращаются к прежним способам самовыражения и понимания мира в ситуационно схожих обстоятельствах. Как подчеркивали Лотман и Успенский [1985: 31], «каждый новый этап в истории, с одной стороны, ориентирует себя в оппозиции к прошлому, а с другой — неизбежно повторяет похожие события, исторические и психологические ситуации или тексты». В конце первого десятилетия нового века многие люди, с которыми я разговаривала, испытывали чувства фрустрации и непонимания в отношении судьбы русского народа, хорошо им знакомой, поэтому их собственные истории превращались в серию рассказов о кру-

шении надежд и несбывшихся ожиданиях. Употребление в перестроечный период самоиронии, комического эпоса и жалоб, зафиксированных такими авторами, как Рис [1997] и Дейл Песмен [2000], доказывало если не континуальный характер постсоветского жизненного опыта, то цикличную консервативную природу русских разговоров.

Тем не менее русские разговоры конца 2000-х гг. качественно отличаются от разговоров эпохи перестройки как минимум большим количеством тем. В постсоветский период границы памяти расширились, россияне получили беспрецедентно высокий уровень доступа к информации, а также свободу, с которой эту информацию можно интерпретировать. Например, растущий рынок в сфере генеалогии — попытка заполнить пробелы в семейной истории, возникшие в результате действий советской системы, — предоставляет людям возможность получить информацию о своих предках и их деятельности, что оказывает значительное влияние на понимание ими самих себя и своей жизни¹.

Сходным образом благодаря развитию краеведения, обладающего государственной поддержкой, возник канон местных топосов, событий, эмблематических образов; структура и детали этого канона оказывают влияние на личные воспоминания о прошлом данного региона.

Данная работа — о русских разговорах в определенный исторический момент. Кроме того, изучая российскую периферию, исследователь сосредоточен в основном на местной специфике. Это не первая подобная работа, включающая истории, рассказанные жителями русской глубинки. И все же, если такие ученые, как Песмен [2000] и Дональд Ралей [2006], проводили свои исследования вдали от столиц (соответственно в Омске и Саратове), они все равно рассматривали рассказы своих информантов как «репрезентативные примеры разнообразных жизненных перипетий, образов жизни и взглядов более широкого коллектива» [Raleigh 2006: 11]. Для данной работы более значимой оказывается именно нерепрезентативность высказанных мнений, т.е. их специфичность в качестве выражений опыта жизни в провинции, чем то, что они могут дать для понимания представлений «рядовых» россиян.

¹ Курсы по генеалогии при местных университетах и библиотеках значительно увеличили число непрофессиональных историков, работающих сегодня в России. Например, в провинциальных архивах, где я работала в 2008–2009 гг., я встретила несколько женщин среднего возраста, которые сначала успешно составили собственные генеалогические древа, охватывающие несколько поколений, а потом стали за умеренную плату искать корни семей своих друзей и коллег.

Очарование провинции¹

Во времена Хрущева и Брежнева провинциальные города северо-запада России переживали беспрецедентный демографический рост. Как отмечает Джудит Паллот [1990: 655], отчасти причиной этого в послевоенный период стал ошеломляющий уровень миграции из сельской местности в связи с возможностями трудоустройства в городах, доступностью жилья и нового качества жизни². Однако миграция в города была вызвана и другими факторами. Конечно, дефицит жилья (особенно в крупных промышленных городах Севера и Востока) вынуждал молодежь воспользоваться новым законодательством, позволявшим создавать жилищные кооперативы и переезжать в небольшие, но активно развивавшиеся города. А вот другие ехали вслед за членами семьи, получившими назначение на военную должность в регионе, и делали все возможное, чтобы вернуться в свои родные города после долгих лет службы в советских республиках. Третьи переезжали из чувства романтики, которая, по их представлениям, была присуща жизни в маленьких городах. Они пользовались свободой выбора места проживания и покидали крупные города, чтобы поселиться в небольших и не столь густонаселенных местах³.

Многие мигранты, перебравшиеся из промышленных центров Севера и Востока страны, вспоминали, что относительно невысокий уровень жизни, конечно, влиял на их первые впечатления. Информанты часто признавались, что вначале были поражены грязью проселочных дорог и деревянными настилами вместо тротуаров, а также отсутствием в домах достижений цивилизации (газа, иногда даже водопровода). Однако если от-

¹ Этот сюжет по большей части основан на рассказах тех, кто переехал в небольшие города из крупных промышленных центров Севера и Востока, он во многом продиктован биографией самих информантов, многие из которых (особенно в Пскове) переехали в провинцию на закате советского периода. Тем не менее эти рассказы отражают особое видение периферийных городов, в которых элементы провинциальной отсталости романтизируются. Те же, кто прожил всю жизнь в «глуши», в особенности те, кто ничего не знал о жизни в промышленных городах Сибири и Севера, описывали неразвитость провинциальной жизни в гораздо более прозаичных терминах.

² Доказательством подобной тенденции служит статистика, приводимая В.В. Полукошко и В.В. Шевельковым в отношении Псковской области, согласно которой городское население области постепенно росло: от 200 тыс. в 1945 г. до 258 тыс. в 1960 г., а в 1979 г. вообще взлетело до 466 300. Между тем сельское население за этот период резко сократилось с 1 млн 550 тыс. в 1945 г. до 1 млн 45 тыс. в 1960 г., а в 1979 г. его численность составляла уже менее 50 % от всего населения области, а именно — 384,6 тыс. чел. [Полукошко, Шевельков 2003: 142–143].

³ Рабочие получили большую свободу передвижения в 1950-х гг. в результате нескольких факторов: право менять работу по своему усмотрению было возвращено рабочим в 1956 г., тогда агентства, осуществлявшие оргнабор (организационный набор рабочих на предприятия), и государственные школы трудовых резервов лишились права на принуждение или вообще отказались от набора. В результате переселение значительно упростилось и в некоторых случаях получило поддержку благодаря государственным программам, таким как кампании по освоению целины или «нового строительства».

существование основных удобств вызывало всеобщее недовольство, то сам по себе провинциализм небольших городов оценивался отнюдь не всегда негативно. Напротив, информанты часто романтизировали относительную неразвитость провинциальной жизни (она оказывалась фоном воспоминаний о «бедном, но счастливом» детстве или похожих на сказку картинок повседневной жизни в Советском Союзе).



Рис. 1. Деревянный дом на улице Мальцева в Вологде. Многие жители считают подобные дома частью «традиционного ландшафта» и обычно жалеют, что они постепенно исчезают.

Деревянные дома XIX в., которые только в 1950-е гг. начали заменять панельными строениями, для многих переехавших являлись наиболее очевидным примером относительной отсталости провинции. Между тем традиционная деревянная «фактура» периферийных городков часто вызвала у информантов приятные воспоминания, несмотря на то что отсутствие основных удобств делало эти дома малоприспособленными для жилья. Защитники местной архитектуры сожалели об утрате городских деревянных построек, которые стали исчезать в 1950–1960-е гг. Например, в «Новгородской правде» Г. Нарышкин [1960: 4] описывает драматические изменения во внешнем облике улицы Правды в Новгороде:

На этом месте никогда прежде не было каменных домов. Стояли только деревянные, с огородами и садами. Юрий Кириллов, машинист башенного крана треста «Новгородстой», мальчишкой до

войны лазил к соседям за яблоками туда, где теперь он строит четырехэтажный дом. Следов той поры осталось немного. Разве только два старых колодца, что попались на пути траншей. Колодцы заполнили камнем и закрыли сверху железобетоном.

Информанты, впервые оказавшиеся в провинции, пытались передать традиционный ландшафт в тех же сентиментальных выражениях. Традиционные деревянные дома часто описывали на языке сказок, а их очарование объясняли тем, что деревья, из которых они были сделаны, — из заколдованного леса. Вот одно из таких «сказочных» воспоминаний (Светланы Темкиной, переехавшей в Вологду из Сибири еще ребенком):

Когда я приехала, город не знала совсем. Я приехала летом, был август месяц, в Вологде было много аллей, бульваров, нежели теперь. Наша улица была вся обсажена большими тополями. И вот я ходила по городу от одного дома до другого деревянного, не зная ни улиц, иногда даже могла заблудиться и потом спрашивала местных жителей, как мне выйти в центр города. Потому что эти дома буквально заворачивали. Они были удивительные. Каждый дом был по-своему хорош [ПМА, 2009].

Татьяна Иванова, переехавшая в Псков с Украины в конце 1970-х гг., так описывает обаяние, которым для нее в детстве обладали таинственные старые дома:

Я больше видела город вот теми глазами, я думаю. Я какие-то старые дома все время... Но представьте маршрут определенный: каждый день едешь там и рассматриваешь дома, где они, какие тебе нравятся, а в какие бы ты хотел попасть. Плюс еще мы исследовали город, когда мы ходили на демонстрации, да... И была возможность после демонстрации полазить по всяким там закоулкам, потому что так ты не поедешь гулять в город: перед родителями тогда отчитываться надо было, вот. А так, вроде, и повод. И мы ходили, мне нравились какие-то дворы... Вот я помню, все время ездил мимо какого-то дома, и они стыковались, и между ними был такой узкий проход. Мне очень было интересно посмотреть, есть там ход или нет. Я все-таки этот дом исследовала. Ход там был, и очень интересно было там полазить. Мы вот так вот лазили по городу [ПМА, 2009].

Разрушавшиеся дома, которые информант обследовала в детстве, представлены в виде заколдованной игровой площадки, которая, подобно самому детству, неожиданно исчезает прямо на глазах. Действительно, любовь многих информантов к прежним ландшафтам провинциальных городов, их полуразрушенным домам и извилистым переулкам сливается с нежными воспоминаниями о детстве. Местные постройки часто представляются неким фоном для детских игр, обрядов инициации, ритуалов.

Идеализация «провинциального» прошлого была отмечена и в описаниях почти сельских аспектов провинциальной жизни, которые постепенно исчезали «под напором асфальта» (1960–1970-е гг.). Идиллическая простота провинциальной жизни (живая природа, дары леса, чистая экология) часто описывалась с насмешливым недоверием; вероятность того, что она когда-либо существовала, явно подвергается сомнению современным городским контекстом. В качестве вариации на эту тему Наталья Смирнова, которая переехала в Псков из близлежащей деревни в 1970-е гг., описывает безошибочно символическим языком, как закат, на который она смотрела из окна своей квартиры на краю города, постепенно заслонялся строительством многоэтажного блочного дома:

Соб.: *И вы помните, когда эти дома начали строить?*

Инф.: *Да. Когда мы сюда заехали, еще в некоторых подъездах заканчивались ремонтные эти работы, и двор был совершенно, очень неустроен, асфальтовых дорожек не было, деревьев не было, во дворах только груды песка, строительного мусора. Вот. И вот домов, которые сейчас перед нами, тоже еще не было. И было очень интересно нам с пятого этажа наблюдать, вот в этом месте, где наши окна выходят на улицу; мы всегда видели закат солнца. Дальше за этими домами уже идут поля, уже загородная местность, и было очень красиво смотреть, как солнце опускается за деревья. Потом, когда построили один дом, девятиэтажный, стало меньше вида. А потом еще один — еще меньше вида. Мы ограничивались только тем, что смотрели в проем между двумя домами и видели краешек солнца. Теперь мы фактически не видим этой картины, как солнце заходит. Но мы знаем все равно, что вот там запад у него, солнце там заходит [ПМА, 2009].*

Район, описанный Натальей Смирновой, располагается на самой окраине города, примерно в тридцати километрах от Эстонии. В этой приграничной зоне, разделяющей сельскую и городскую местность, процессы урбанизации особенно заметны. По мере того как волны переселенцев заполняли этот городок в 1960–1970-х гг., бетонная граница все глубже отодвигала незастроенную сельскую местность.

Исчезнувший закат — метафора, вызывающая в памяти процессы окультуривания (как в смысле одомашнивания природы, так и в смысле создания более модернизированного способа существования), которые происходили во многих городах типа Пскова¹. И пусть в рассказе о триумфе общественного по-

¹ В данном контексте стоит отметить широко распространенное использование слова «культурность» — особой формы культурного сознания или, по определению Веры Сандомирски Данэм, «идеального представления о том, как быть цивилизованным» [Sandomirsky Dunham 1976: 22].

рядка над анархией природы и улавливается некая ирония, неизбежность модернизации молчаливо принимается информантом.

Вслед за Виктором Тернером можно сказать, что к городской окраине не применима какая-либо классификация, «которая обычно определяет состояние и положение в культурном пространстве» [Turner 1969: 95]. «Пороговость» эта возникает из-за неопределенного местоположения. Жители пригорода — по большей части вчерашние сельчане, переехавшие в провинциальные города для работы или учебы, тоже могут считаться «пороговыми персонажами» или «пороговым народом», как называет его Тернер в «Ритуальном процессе». Это население, будучи «ни там, ни здесь» [Turner 1969: 95] (между городским и сельским), воплощает собой социальные изменения, сопровождающие модернизацию.



Рис. 2. Сентябрь 2009 г. Строительство заморожено из-за финансового кризиса. Соседство города и села по-прежнему бросается в глаза.

Если традиционные деревянные дома и естественная обстановка очаровывали многих приезжих, то «оригинальный провинциализм» небольших городов нравился далеко не всем. Маргарита Ткаченко, университетский преподаватель иностранных языков, переехавшая в Псков из маленького сибирского городка, вспоминает свое разочарование от столкновения с косноязычным местным сообществом (она-то ожидала встретить утонченных «европейцев»):

Инф.: *В общем, мы решили уехать сюда, и хотелось просто (когда даже на экскурсии ездили в Новосибирск, или в Томск, или в Кемерово), хотелось почему-то выбраться в Европу очень сильно. Думали, что в Европе будет все совершенно по-другому. Мы мечтаем! Мы, русские люди, такие мечтатели! Вот мы прочитали о чем-то и... Недаром говорят, что у нас литературоцентристская страна. Что прочитали, и уже мечтаем об этом. Но, тем не менее, потом мы попадаем в Европу, сначала в город Великие Луки Псковской области, который мне совершенно не понравился, просто деревенщина какая-то! Мне казалось, по сравнению с Сибирью, где я жила, в маленьком, казалось, городке, там было столько умных людей, и у нас был такой замечательный класс! А тут я... Даже, вот, диалект: «Каво ты-ы? Чаво ты-ы?»*

Соб.: *Правда?*

Инф.: *Вот эта вот неграмотная русская речь меня просто поразила. В Сибири люди говорили очень грамотно. Может, потому что туда ссылали декабристов в свое время, вот, но там либо эски, заключенные, либо — такая вот полярность — либо очень грамотные люди. Грамотные и очень хорошо одевающиеся. И я удивилась: я думала, что Европа сейчас меня просто обескуражит своей культурой, своим шармом. Ничего подобного! [ПМА, 2009].*

Это воспоминание говорит даже о большем, чем рассказы об идеалистических надеждах, которые питали переселенцы в небольшие города в послевоенный период. Маргарита Ткаченко была представителем ориентированного на Запад поколения шестидесятников¹, любителей «Beatles», и ее представление о «Европе» тесно связано с индивидуальным творческим потенциалом и свободомыслием (тогда они ассоциировались с Западом). Согласно этой логике, европейская часть России (и даже ее провинциальные города) должна была продемонстрировать более просвещенную и либеральную культуру, чем промышленные центры советского Востока. Контраст между репутацией европейской части России как региона высокой культуры и ее провинциальной ограниченностью стал неприятным сюрпризом для молодых переселенцев-романтиков, подобных Ткаченко.

Если для одних использование разговорного языка и диалектизм было ярким примером культурной отсталости, другие воспринимали это как ценную отличительную черту провинции в невероятно стандартизированном советском обществе.

¹ Светлана Бойм противопоставляет романтических и оптимистичных шестидесятников (тех, чья молодость пришла на хрущевскую оттепель) восьмидесятникам — детям «застоя», которых отличает «скептицизм, ирония и неверие» [Войт 1994: 25].



Рис. 3. Портрет Джона Леннона из зерновой мозаики; фотография сделана в доме Маргариты Ткаченко. «Beatles» считались иконой либеральных ценностей, которые многие молодые русские в те годы связывали с Западом.

Варлаам Шаламов, например, в своей повести «Четвертая Вологда» [1994: 10] превозносил сладкозвучный язык доярок и прочих сельских работников, это, по его утверждению, не могло оставить равнодушными гостей из Ленинграда и Москвы.

В 2009 г. некоторые информанты выразили подобные чувства. Так, Светлана Темкина, вспоминая о детстве в вологодской провинции, описывает говоривших на диалекте ребятишек как хранителей некоего таинственного исчезающего мира. Диалектизмы и особенности произношения, как и другие признаки «очаровательной провинциальности», получили самые положительные отзывы и у тех, кто переехал в провинцию из крупных промышленных городов и позже, в 1960–1970-х гг. Представляется, что предпосылкой подобных оценочных реинтерпретаций традиционных аспектов повседневности является дистанция по отношению к объекту романтизации.

Стереотипы провинциальности: немногословность, замкнутость и неприветливость жителей Северо-Запада России

Нижеследующие выдержки из интервью, в которых рассматривается устоявшийся стереотип жителей русского Северо-Запада — «немногословные люди», демонстрируют различные способы, при помощи которых рассказчики включают «общее знание» в свои индивидуальные повествования. Первый отрывок — из интервью со Светланой Темкиной, хорошо известным человеком в культурном мире Вологды; Темкина устраивает регулярные «салоны» в причудливом музее быта XIX в. «Мир забытых вещей». Благодаря богатому опыту работы экскурсоводом в различных местных музеях, а также общей эрудиции речь Светланы Темкиной полна уверенности и почти театральной интеллектуальности, которой восхищаются многие посетители ее вечеров. Во время интервью она с легкостью обращается к литературным источникам, чтобы проиллюстрировать свои соображения о местном характере. В приведенном ниже отрывке хорошо видна эта ссылка на авторитет:

Соб.: *Опишите, пожалуйста, характер вологжан. Чем они отличаются?*

Инф.: *Наш писатель Варлам Шарламов пишет, что лучшие дворники были из татар по национальности, а конвоиры — это вологжане. Они немногословны. Это вольные люди, хозяйственные, крепкие, трудолюбивые, которые много работали, но сами свое добро и берегли [ПМА, 2009].*

В этом отрывке устоявшийся стереотип жителя русского Северо-Запада (сдержанного, но щедрого, простого, но трудолюбивого) подтверждается словами местного писателя Варлама Шаламова. Более того, Светлана Темкина склонна толковать слова писателя буквально, плавно переходя от афоризма Шаламова к своему собственному мнению о том, «как обстоят дела» в Вологде. Впрочем, это и неудивительно, учитывая, что информант вращается в «литературной среде» и проявляет профессиональный интерес к художественной и культурной жизни города. Нескрываемая нелюбовь Темкиной к современной провинциальной реальности также может служить объяснением ее склонности подчеркивать именно «литературные» аспекты жизни Вологды.

Екатерина Морозова, переехавшая в Псков из Мурманска в 1977 г., рассказывая о «характере» горожан, приводит в качестве примера похожий стереотип замкнутости и неприветливости жителей Северо-Запада. Однако вместо обращения к литературным источникам она объясняет историю местного

«типа», ссылаясь на опыт другого сообщества, к которому принадлежит, — переселенцев с Севера:

Соб.: *Да? И вы заметили разницу между...?*

Инф.: *Ну, да... это — да. Ну, это, как в каждом... северяне — они более... или там меньше город, или вообще там нет, по-моему, до сих пор сейчас говорят, что северный народ... он немножечко совсем другой. Он более открытый. Вот, единственное, что, это самое, когда приехала, и когда с истинными такими псковичами... они немножечко, может быть, закрыты в этом плане. Не знаю... но не все, опять же, вот, я говорю: сейчас-то я со многими знаюсь. Те, которые псковские — прекрасные люди. С теми, которыми коснулась, может быть, там, по работе или... ну, не знаю... не могу я сказать ничего такого плохого, или, как бы... Но, отличаются, отличаются... отличаются. <...>*

И когда, вот, я говорю, как бы псковским, таким, вот, нету, как бы, долгих таких отношений, а вот северные — они, может быть, это сплачивает то, что пережито там. Может быть, вот я так думаю. Здесь, может быть, в этом плане, может быть, легче было, что здесь больше родственников... сельская местность, как бы, жили сначала в сельской местности, потом они переехали в город, да? И у них и там остались, и в сельской местности знакомые, родственники там, но больше круг родственников, может быть. Может быть, им легче это было. А мы, здесь, северные, когда приехали, мы, как бы, одни... [ПМА, 2009].

В отличие от аристократической немногословности вологжан, о которой говорит Светлана Темкина, замкнутость псковичей представляется, по существу, отрицательной чертой по сравнению с позитивно поданными открытостью и общительностью северян. Следует отметить, что рассказчик воплощает мифы своего сообщества, пытаясь объяснить различия в характерах двух типов. У людей, приехавших с Севера, благодаря общему ощущению маргинальности больше развиты чувство принадлежности к сообществу и щедрость, чем у коренных, находящихся в привилегированном положении псковичей.

Последняя ссылка на легендарную неприветливость жителей Северо-Запада взята из интервью с Александром Поповым, уроженцем Пскова, переехавшим в 2005 г. в Санкт-Петербург, чтобы писать там кандидатскую диссертацию по истории. В рассказе Александра неприветливость является не признаком скрытой глубины характера или безобидной провинциальной причудой. Это скорее симптом некоей болезни, охватившей европейскую часть современной России:

Вот, здесь, с одной стороны, как на Западе, всё очень индивидуально, но, в отличие от Западе, все сами по себе. Вот, и друг другу не

доверяют, и очень агрессивны. Иногда мне кажется, что в каких-то других местах России всё чуть проще. Вот и люди более приветливы и спокойны и более идут на контакт [ПМА, 2009].

Примечательно, что информант апеллирует к европейской системе координат, а именно — сравнивает положительную «индивидуальность» Запада с недоверием и подозрительностью, присущими современной России. Будучи представителем поколения образованных россиян, выросших с острым ощущением социальной и культурной неполноценности России по сравнению с «развитым» Западом, Попов подходит к рассмотрению традиционного типа с очень специфической социальной точки зрения. Его представления о северо-западных стереотипах сводятся к типу, который застрял на переходной стадии: с одной стороны — ярое стремление к индивидуальности, присущей рыночному капитализму, а с другой — отсутствие взаимного уважения и доверия, характерное для западного капиталистического общества. Таким образом, неприветливость и недоверие являются признаками неумелой имитации западных идеалов, по поводу которых в русской культуре тоже сложился определенный стереотип.

Игровая деконструкция провинциальных стереотипов

Однако далеко не каждый информант охотно обращался к «своду знаний», касающихся провинциальных стереотипов. Наверное, неудивительно, что на прямые вопросы о наличии и природе местных стереотипов информанты часто отвечали демонстративно толерантно, подчеркивая обыкновенность местного населения, при этом известные предрассудки мягко отмечались. В своем ответе, демонстрирующем особую широту взглядов, Слава, уроженец Пскова приблизительно 35 лет, утверждает, что хотя преувеличивать достоинства своего сообщества естественно, это все равно вводит в заблуждение:

Соб.: *В Пскове, вы думаете, что у людей в Пскове есть отдельные черты характера? Какие?*

Инф.: *Не думаю. Нет, нет, обычные нормальные люди. Просто дело в том, что, когда рождается ребенок... Ну в основном; не буду говорить, что все поголовно, в основном: родил родитель — думает, что их ребенок — исключительный! Вот он — исключительный! Вот он — лучше, всё равно вот, соседского и того соседского! Он какой-то исключительный. Нет! Он обычный, нормальный ребенок. То же самое: мы обычные, нормальные люди. Ну, как говорят, в семье не без урода, бывают всякие. Но в основном — хорошие, добрые люди. Отзывчивые. Не только в Пскове, вообще в России [ПМА, 2009].*

Будучи видным членом местной методистской общины, Слава идеально подходит для таких щедрых излияний. Действительно, его ярко выраженная толерантность в этом интервью проявилась совсем иначе, чем в большинстве других подобных заявлений: он отверг излишне положительные представления о местном сообществе в пользу более приземленного, неприемчательного образа местного населения. Однако в большинстве случаев упоминания информантов о «нормальности» сообщества были призваны, напротив, разрушить негативные провинциальные стереотипы. Приведу в качестве примера подобных приемов повествования публичное выступление мэра Пскова Михаила Хоронина, который закончил свою речь о растущей экономической конкурентоспособности Пскова по отношению к другим городам России напыщенным восклицанием: «Мы нормальные люди из великой страны»¹. В данном случае утверждение «нормальности», по всей видимости, противопоставлялось обвинениям в ненормальности со стороны чужаков, особенно тех, кто принимает решения в Москве.

Прямые вопросы о характерных чертах провинциального общества часто получали резкий отпор, но нами отмечено и другое отношение к провинциальным стереотипам, основанное на самоиронии. Особенно заметно оно проявлялось в воспоминаниях информантов об их первых поездках в суетные столичные города — Москву и Санкт-Петербург. Пользуясь стереотипным образом удивленного неопытного провинциала, информанты сочиняли воспоминания, в которых они якобы терялись в московском метро, им грубили в питерских троллейбусах или они засыпали от усталости в столичном планетарии. Один из таких самоуничижительных рассказов принадлежит Василию Соколову, бывшему на момент интервью аспирантом из Вологды, переехавшим в Санкт-Петербург для продолжения учебы:

Я дико боялся сходить с эскалатора. То есть, я никак не мог сделать вот шаг с этой бегущей ленты, и вот, да, на твердую землю. Я помню, что я все, все, уже подъезжаем, а я иду назад, назад, назад, назад, наконец, какая-то, причем местная, тетечка меня просто взяла за руку и со мной вот этот шаг сделала. Вот. Просто сначала я этого просто дико боялся. У меня такие вот первые воспоминания о Питере [Oxf/АНRC-SPb-07 PF 32].

Некоторые информанты вспоминали свои попытки изображать утонченных городских жителей по возвращении из столицы. Наталья Смирнова, например, со смехом вспоминала

¹ Речь Михаила Хоронина на открытии празднования Дня города (25 июля 2009 г.).

образ жеманной студентки, который она демонстрировала в Пскове (1970-е гг.):

Мы любили ходить в театр, потому что мы считали, что это признак интеллигентности — ходить в театр. Вот. В кафе иногда тоже ходили. Было кафе, оно как раз называлось «Снежинка». Мы любили очень молочные коктейли пить. Еще там были «Молодежные» коктейли с шампанским, на основе шампанского — там тоже мороженое; что-то добавлялось там... Сок?.. Вот это ходили, это было тоже интересно [ПМА, 2009].

Однако лучше всего ирония по поводу провинциальной напыщенности представлена в некоторых изобретательных эссе на личных сайтах или в чатах. Так, на одном из сайтов под названием «Альтернативное краеведение Новгородской области» высокопарные вступительные строки бесчисленных путеводителей и исторических исследований подвергаются насмешливой стилизации. Вместо ожидаемой формулы «Новгород — один из старейших городов России...»¹, мы читаем:

Это не тот Новгород, о котором вы подумали.

Он не стоит на Волге, в нем нет ярмарки, а Борис Немцов и Максим Горький не имеют к нам никакого отношения.

Словом, перестаньте нас, наконец, путать!

Наш Новгород — Великий. Великий — не по размерам, а исторически. Это город, который еще называют «Господин Великий Новгород». Точнее, называли. Теперь так называется теплоход, учебное судно новгородского Клуба юных моряков — кстати, крупнейшего и старейшего в России <http://www.nov.ru/wiki/Великий_Новгород>.

Вместо привычных напыщенных заявлений о значимости Великого Новгорода в российской истории и культуре, вымышленный гид по сайту альтернативного Новгорода предлагает нам экскурсию по городским достопримечательностям, отмеченную ярко выраженным чувством провинциальной ущербности. В результате мы отправляемся в виртуальный тур по самым непривлекательным местам города, от местного супермаркета «Лента» или шашлычной в турецком стиле до всенародно нелюбимых памятников, таких как памятник Победы, также известный как «Конь». Выворачивая наизнанку жанр путеводителя по провинции, сайт высмеивает стереотипы напыщенного важничающего провинциала, чьих собратьев можно встретить в наполовину вымышленном мире довлатов-

¹ См., например, среди прочих вступительные фразы произведений: «Новгород Великий» [Каргер 1961]; «Новгород» [Кушнир 1972]; «Новгород, путеводитель» [Дунаев, Разумовский 1984].

ского «Заповедника». Тем не менее авторы все-таки не лишены симпатии к тому абсурдному провинциальному миру, который они изображают. Способность к самоиронии сама по себе расценивается как положительный аспект провинциальной культуры в противоположность самонадеянной помпезности столицы.

Если «Альтернативное краеведение Новгородской области» почти наверняка является творением «Интернет-продвинутой» провинциальной элиты, более народный прием переименования местных памятников выполняет ту же функцию — ослабляет претенциозные проявления провинциального величия. Нижеследующая выдержка из блога Живого Журнала подтверждает, что смешные прозвища, которые люди дают памятникам, зачастую направлены не против тех местных деятелей или событий, которым они посвящены, а скорее против откровенно помпезных художественных воплощений:

absyrd_aprelia: *вся Вологда в фотографиях с комментариями здесь <<http://gudea.livejournal.com/>> памятник «пресловутому палисаду» находится на улице Мальцева. еще есть памятники чупа-чупсу и писающей собаке... это народные названия :*

winch: *Спасибо!*

vsebudet_ok: *А чупа-чупс, никак не пойму, что это?*

absyrd_aprelia: *Памятник Беляеву, напротив ТЮЗа.*

vsebudet_ok: *Да уж, креатиффчик.*

winch: *А почему так называют?*

absyrd_aprelia: *Потому что он на чупа-чупс больше похож, чем на Беляева в космо-шлеме :))))))*

absyrd_aprelia: *На него смотреть не надо. Он как ориентир на палисад... то ж не далеко ;) чупа-чупс найти проще, а палисад через квартал по прямой.*

vsebudet_ok: *Мне кааца, что чупа-чупсом памятник Беляеву называть как минимум некорректно. Психолог бы сказал, что у того, кто так называет, пусть памятник, не человека, подсудно лежит желание самоутвердиться — унизив того, кто чего-то достиг.*

absyrd_aprelia: *Вероятно. только название уже приелось в народе, как и многие другие названия дурацких памятников. И ни народ, ни Беляев, ни бедный пес, ни тем более конь Батюшкова никак не виноваты в «гениальности» идей скульпторов. Как народу показали, так народ и увидел и назвал. Что поделать... <<http://community.livejournal.com/vologda/168992.html>>.*



Рис. 4. и 5. Памятник Беляеву (известный как Чупа-чупс или Голова) и мемориал Гражданской войны (известный как Кол или Зуб) в Вологде. Фотографии автора.

Разумеется, пародийное переименование памятников не ограничивается контекстом провинций. Например, в Петербурге памятник Ленину у Финляндского вокзала окрестили «Лениным, торгующим пиджаком» или «Лысым камнем»¹. Относительно небольшое число памятников в таких провинциальных городах, как Вологда, и явное несоответствие между их помпезным исполнением и провинциальным окружением способствовали превращению этих объектов в мишень народных насмешек. Такой коллективный вызов властным дискурсам провинциальных памятников может служить способом усиления провинциального сообщества (разумеется, не в физическом смысле). Действительно, жители обособленной периферии ценят подобные символические формы власти гораздо выше, чем жители центра.

Инверсия противопоставления «столица — провинция»

Последний аспект в структуре провинциального повествования, который я хочу рассмотреть в этой работе, — инверсия общепринятого противопоставления столицы и провинции, а также значение этого явления для понимания информантами самих себя и своих сообществ. Важность противопоставления «столица — провинция» для определения коллективного «я» подчеркивалась в нескольких недавно опубликованных работах по провинциальной культуре. Так, согласно Ирине Разумовой (см.: [Белусов 2000: 291]), «взаимоотношение провинции и столицы — одна из популярных тем устной словесности». В воспоминаниях местных жителей о советском времени враждебность столицы, проявляющаяся в неравном распределении товаров, часто служила источником анекдотов и шуток. Например, во всех трех провинциальных городах рассказывалась, с местными вариациями, старая советская шутка о дефиците в провинциях:

Загадка: Длинный зеленый, пахнет колбасой. Что такое?

Отгадка: Поезд Москва—Вологда (или Москва—Питер; Псков—Новгород)².

Эта шутка, часто рассказываемая жителями с чем-то вроде мазохистского веселья, относится к ситуации в провинциях, которая еще больше усложнилась при Леониде Брежневе, когда

¹ Предположительно, множество новых прозвищ возникло после «террористических атак» 1 апреля 2009 г., когда с тыльной стороны памятника Ленину была проделана дыра так, чтобы создалось впечатление, что брюки и пиджак Ленина были порваны в результате сильнеешего скопления газов, вырвавшихся наружу.

² Следует отметить, что в рунете эта шутка появляется в региональных вариациях, включающих Тулу, Воронеж, Обнинск, Саратов и другие провинциальные города.

нехватка основных продуктов питания, таких как сыр и колбаса, вынуждала людей наведываться в магазины Петербурга и Москвы, которые лучше снабжались. Абсурдность такого устройства жизни была особенно очевидна для жителей небольших городов типа Вологды, где производили основные продовольственные продукты. Они часто вспоминали, как им приходилось ехать за сотни километров, чтобы купить масло, которое производилось в нескольких километрах от их дома. Однако если большинство информантов признавали, что и раньше, и сейчас столичные города были лучше обеспечены товарами, качество жизни в провинции часто считалось выше, чем в Санкт-Петербурге или Москве. В следующем ниже отрывке Алеша, молодой безработный из Новгорода, сравнивает манеру поведения провинциалов с жителями соседнего Санкт-Петербурга:

Соб. 1: *Но все равно, ты считаешь, что в Новгороде лучше чем...*

Инф.: *Да, между прочим вот, сравни Питер с Новгородом, мы живем лучше, чем в Питере.*

Соб. 2: *Да?*

Инф.: *Чисто в культурной сфере, мы лучше, чем Питер.*

Соб. 2: *Это более культурный город, что ли? А люди тут культурнее, или это в принципе обоих касается?*

Инф.: *Знаешь... Это... Вообще, со статистической точки зрения, да, мы намного отличаемся от питерцев. Питерцы тебя облают. Вот я приведу пример. Сел я в троллейбус, да. Вот приехал когда в Питер, сел я в троллейбус. Подошел ко мне кондуктор. Я естественно заплатил, это самое, кондуктору, и говорю «спасибо», естественно, за его работу — я его должен благодарить. Вот с точки зрения этих, да, он на меня посмотрел, как на идиота! А здесь вот скажешь кондуктору «спасибо», он еще тебе улыбнется и скажет «спасибо вам». Вот. Разница есть?» [ПМА, 2009].*

Мнение Алеши о холодности петербуржцев не столь преувеличено, как кажется на первый взгляд. По собственному опыту могу сказать, что персонал сферы обслуживания, особенно кондукторы общественного транспорта, гораздо приветливее и любезнее в провинции, чем их встревоженные бдительные коллеги в столичных городах. Трудно представить себе, например, чтобы новгородский кондуктор, чаще всего разговорчивая женщина средних лет, запретил пассажирке поставить тяжелые сумки с продуктами на сиденье до того, как она заплатит за билет, как это произошло недавно в Санкт-Петербурге в присутствии моего друга. Поэтому вполне понятно, что гости крупных городов из провинции, которые общаются главным

образом с переутомленными кондукторами, официантками и продавцами, считают столицы гораздо более негостеприимными, чем их родные провинциальные города.

Изображая петербуржцев невоспитанными и невежливыми, Алеша переворачивает с ног на голову противопоставление культурной столицы и невежественной провинции. Немногие информанты утверждали, что Новгород — более культурный город, чем Петербург, зато многие соглашались с тем, что жители провинции, как правило, более тактичные и вежливые¹. Такой недостаток часто связывают с бешеным ритмом столичной жизни, тяжелыми нагрузками на работе и выматывающими поездками на работу и с работы, в результате чего столичные жители становятся уставшими и раздраженными. Татьяна Иванова описывает рутинную «жизнь ради работы» своих петербургских друзей, объясняя, почему она предпочитает тихую жизнь провинции:

Я не знаю, у меня живут там друзья, и я как-то приезжала и посмотрела, какой образ жизни они ведут. Это... Утром встают, едут на работу, в метро спят. В десять вечера едут с работы, в метро спят. Возвращаются домой где-то в полдвенадцатого вечера, час — спать. Утром встают, едут на работу, в метро спят. Я говорю: «Я здесь на вашу питерскую жизнь посмотрела, я не хочу такой жизни!». У меня здесь хватает времени, чтобы сходить на работу, и вечером я могу с кем-то встретиться, куда-то сходить, потому что у нас расстояния здесь небольшие. И мне нравится простор такой и покой [ПМА, 2009].

В этом мрачном взгляде на петербургскую жизнь общепринятое представление о столице и провинции вновь перевернуто с ног на голову. Столичная жизнь становится бессмысленной борьбой за существование, тогда как жизнь в провинции, ее удобства и возможности кажутся более гуманной, даже более цивилизованной альтернативой. Здесь можно было бы заподозрить некую неосознанную зависть, т.е. использование положительной переоценки ценностей провинциальной жизни для того, чтобы смириться со своим более низким положением по отношению к столице. Однако более вероятно, что информант поддерживает романтическую идею о том, что жизнь в маленьких городах и в особенности преобладающее чувство общности в провинции способствуют абсолютному человеческому счастью. Подобное мнение привело к массовому переезду в пригороды в США и некоторых районах Англии.

¹ Такое же пренебрежительное отношение к столице встречается и в Великобритании, где северяне, например, продолжают называть Лондон «Большой жировик» — нелестное прозвище, придуманное Уильямом Коббетом в 1820-х для сравнения быстро растущих городов с прыщом на лице нации.

При ответе на вопрос о том, как изменились провинциальные города в постсоветский период, многие информанты заостряли внимание на отличиях, которые очень напоминали те, что существовали между провинцией и столицей. Так, жителей постсоветской провинции и в особенности молодое поколение информанты часто считали более эгоистичными, невоспитанными и жадными, чем их предшественников, которые, напротив, отличались чувством взаимопомощи и сострадания к соседям. В одном из рассказов о современной жизни в провинции Иван Лебедев оживленно описывал человеческую деградацию, наблюдавшуюся в Пскове после падения Советского Союза:

Инф.: *Да, люди стали поганые! У-у-у, люди... отвратительные стали. Отвратительные.*

Соб.: *В каком смысле?*

Инф.: *В каком смысле? Люди стали отвратительные!*

Соб.: *А почему?*

Инф.: *Не знаю... Я не могу судить, почему они стали такими... У меня тут был такой момент, я страдал подагрой. Знаете такую болезнь? Подагра — это воспаление суставов там и прочее. Ну и мне в наследство достался такой подагрический артрит. Тоже болят суставы. [Нрзб] дремлет, а тут чего-нибудь съешь не то — она начинает... И вот я как-то... Болели суставы больших пальцев. Я ходить не мог практически. Даже место не уступит! Он сидит, развалившись в автобусе, пацан, 13–15-летний. Пьют, наркотики... Не, народ — поганый! Нервный, психованный какой-то весь... не знаю... Ну недоброжелательный, не поможет никогда. Выйдешь на дорогу... Как-то у меня прихватило сердце, и я не мог на машине уехать. Вышел на дорогу. Я подсчитал, только пятьдесят первая машина остановилась в город меня довезти! Нет, с таким народом... И чуть что — сразу лезут в драку. Ко мне не лезут. Потому что лицо такое неприятное; вообще — боются. Ну это небо и земля — сравнивать с теми людьми, с которыми я сталкивался, и с теми, с которыми сейчас сталкиваюсь. Вседозволенность, конечно [ПМА, 2009].*

В этом описании современной ментальности информант объединяет несколько отрицательных стереотипов о молодых людях, широко распространенных среди русских его возраста и социального положения. Впрочем, маловероятно, что информант мог увидеть подростка в наркотическом опьянении в автобусе: провинциальные кондукторы так же (если не более) нетерпимы к любым отклонениям в поведении на их маршруте, как и их столичные коллеги. Этот образ был скорее всего

заимствован из городского мифа или перешел из более подходящего контекста Финляндского парка (после наступления темноты он превращается в место сбора городских торговцев наркотиками, алкоголиков и бездомных), вокзала или некоторых особенно неблагополучных дворов. Однако больше всего бросается в глаза то, как информант критикует отсутствие сострадания у молодого поколения и его недоброжелательность. Моральный подтекст ситуации, когда пятьдесят машин проезжают мимо старого больного человека, понятен; выходит, что в Пскове люди относятся к своим соседям даже хуже, чем израильтяне, едущие по дороге из Иерусалима в Иерихон.

Этот рассказ об эгоизме и безразличии к человеческим страданиям напоминает поведение людей в крупных городах. Александра Смирнова, хозяйка квартиры, у которой я жила в Вологде, рассказала мне о сцене, свидетельницей которой она стала в Санкт-Петербурге: пожилого человека вытолкнули из переполненного автобуса, но вместо того чтобы помочь ему встать, его чуть не затоптали другие пассажиры, жаждавшие занять его место. Вывод, который можно сделать из этой истории, заключается в том, что жители больших городов в результате сложных экономических условий и безнаказанного эгоизма становятся безразличными к страданиям и несчастьям других людей. Подразумевается, что провинция остается местом с более развитым коллективным состраданием, где чувство общности по-прежнему является отличительной чертой повседневной жизни.

Несмотря на тематические наложения, описанные выше, соотношения между пространствами (центр — периферия) и временами (советский — постсоветский периоды) существуют как будто независимо друг от друга в рассказах местных жителей. Так, если объясняется, что поведение людей в постсоветских провинциях чаще, чем раньше, диктуется эгоизмом и бесчувственностью, различие между столицей и провинцией по-прежнему считается важным. Однако по мере того как все большее число образованных молодых людей уезжают в Санкт-Петербург и Москву на работу или учебу, традиционный разрыв между «цивилизованной» столицей и «невежественной» провинцией усиливается. Особенно явно это проявляется в больших «культурных» городах, таких как Санкт-Петербург, где стереотип вырождающегося пьяного и безграмотного провинциала по-прежнему жив.

Заключение

В этой работе я постаралась обсудить различные подходы и отношения к провинциальности через призму устных рассказов

жителей северо-запада России. Я решила не проводить делений по возрастному, гендерному и социальному признакам, но значимость этих факторов подразумевается самим анализом. Такие понятия, как социальная принадлежность и гендер, взятые отдельно, дают лишь ограниченное понимание процессов идентификации и их воплощения, которые и представляют основной интерес для данного исследования. В подтверждение своих слов, призываю вас вспомнить совершенно разное отношение Маргариты Ткаченко и Светланы Темкиной, женщин одного возраста и социального положения, к вопросам провинциальной культуры, традиций и сообщества. Между тем рассказ Людмилы Дьяченко доказывает, что такие факторы, как место рождения и схожий опыт, связанный с психологической травмой или социальными переменами, могут привести к возникновению одинаково сильных полюсов идентификации сообществ.

Тем не менее каждое из приведенных выше рассуждений было сосредоточено на определенной социальной группе, т.е. на сообществе людей, связанных общим опытом формирующих личность событий или социальных «настроений». В первой части о том, каким образом русские, переехавшие в этот регион в 1960–1970-е гг., романтизируют в своих рассказах провинциальность небольших городов, рассматривается опыт некоторых переселенцев из крупных городов на заре советской эпохи. Как отмечали Вайль и Генис [1988: 91–92], эта группа характеризовалась романтическим антиматериализмом и оптимизмом по поводу «светлого будущего» советского общества. Рассказы представителей этой группы можно также рассматривать в контексте возрождения культурного национализма в 1960-е гг., а также безумного патриотизма постсоветской эпохи. Романтические тона, в которые окрашены описания информантами провинциальной местности, людей и жизни, иногда сливаются с патриотической риторикой этого времени.

Есть и другая социальная группа, которая разрушает провинциальные стереотипы с помощью самоиронии и высмеивания помпезных провинциальных жанров. Эта группа представляет собой постсоветское сообщество интернет-блоггеров и просто любителей посидеть в Интернете и характеризуется беспрецедентным уровнем доступа к информации о них самих и о внешнем мире. В руках этих «постпровинциальных» русских традиционные инструменты сатирика оборачиваются против них самих, точнее против стереотипного портрета русского провинциала. Мишенью шуток о глупом провинциале оказываются сами авторы, и их способность к самоиронии становится положительной чертой их провинциальности.

Если такие организующие понятия, как возраст и пол, не дают полной картины «типичного» опыта той или иной группы, они, тем не менее, остаются полезными для анализа форм внутренней структуры повествования. Можно заметить, например, что роль *дефицита* в понимании информантом провинциальности и в его рассказе о ней напрямую зависит от того, достаточно ли лет информанту, чтобы он помнил нехватку товаров на закате советской эпохи и поездки в столицу за товарами первой необходимости. Более того, можно отметить, что женщины среднего возраста оценивают «традиционные» черты провинциальной жизни более позитивно, чем мужчины, которые склонны интерпретировать их как признаки провинциальной отсталости, по сравнению, например, с условиями жизни в столице или на Западе. Тем не менее эти традиционные признаки современной идентичности заслуживают того, чтобы быть представленными в более комплексном рассмотрении формирования идентичности, которое учитывало бы сообщества, структурированные вокруг объединяющих культурных «моментов» и настроений наподобие тех, что обрисованы в данном исследовании.

Список сокращений

ГАВО — Городской архив Вологодской области
ПМА — Полевые материалы автора

Библиография

- Абашев В.В.* Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: изд-во Пермского университета, 2000.
- Ахметова М.В., Лурье М.Л.* Материалы бологовских экспедиций 2004 г. // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 336–357.
- Байбурин А.* «Язык падонкаф» // National Identity in Russia from 1961: Traditions and Deterritorialisation. June 2008. Newsletter No. 1. P. 9–11. <<http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/nationalism/newsletter.htm>>.
- Белусов А.Ф.* (ред.) Русская провинция: миф — текст — реальность. М.; СПб.: Тема, 2000.
- Вайль П., Генис А.* 60-е: Мир советского человека. Ann Arbor: Ardis Publishers, 1988.
- Дунаев М., Разумовский Ф.* Новгород, путеводитель. М.: Радуга, 1984.
- Григорьев М.* Филиал Новгородского Чикаго. М.: Фонд исследования проблем демократии, 2008.
- Каргер М.К.* Новгород Великий. Л.; М.: Искусство, 1961.
- Кушнин И.И.* Новгород. 2-е изд. Л.: Литература по строительству, 1972.

- Лецинский И.* Новые люди // Научно-просветительский журнал Скепсис. Август 2008. <http://scepsis.ru/library/id_2149.html>.
- Лурье В.Ф.* Памятник в текстах современной городской культуры // Живая старина. 1995. № 1. С. 21–22.
- Нарышкин Г.* Маршрутом новостроек // Новгородская правда. 1960. 14 янв.
- Полукошко В.В., Шевельков В.В.* Земля Псковская: история и современность. Псков: Стерх, 2003.
- Топоров В.Н.* Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Миф, Ритуал, Символ, Образ. Исследование в области мифологического. М.: Прогресс, 1995. С. 259–367.
- Шаламов В.* Четвертая Вологда. Вологда: Грифон, 1994.
- Bertaux D., Thompson P., Rotkirch A.* On Living Through Soviet Russia. L.; N.Y.: Routledge, 2004.
- Boym S.* Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass.; L.: Harvard University Press, 1994.
- Comrie B., Stone G., Polinsky M.* The Russian Language in the Twentieth Century. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Lotman I.M., Uspensky B.A.* Binary Models in the Dynamics of Russian Culture (to the End of the Eighteenth Century) // The Semiotics of Russian Cultural History / A.D. Nakhimovsky, A.S. Nakhimovsky (eds.). Ithaca; L.: Cornell University Press, 1985. P. 33–60.
- Pallot J.* Rural Depopulation and the Restoration of the Russian Village under Gorbachev // Soviet Studies. 1990. Vol. 42. No. 4. P. 655–674.
- Paxson M.* Solovyovo. The Story of Memory in a Russian Village. Washington: Woodrow Wilson Centre Press, 2005.
- Pesmen D.* Russia and Soul. N.Y.: Cornell University Press, 2000.
- [Raleigh 2006] Russia's Sputnik Generation: Soviet Baby Boomers Talk about Their Lives / Raleigh D.J. (ed. and trans.). Bloomington: Indiana University Press, 2006.
- Ries N.* Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika. Ithaca; L.: Cornell University Press, 1997.
- Sandomirsky Dunham V.* In Stalin's Time: Middle Class Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Turner V.* The Ritual Process. Chicago: Aldine Publishing Company, 1969.

Интервью

Персональные интервью (далее — ПИ). Алеша, безработный, 30 лет, переехал в Новгород в 1980. Интервью взято 19.08.09.

ПИ. Морозова Екатерина, пенсионерка, бывшая швея, 61 год, приехала в Псков в 1977 г. Интервью взято 22.07.09.

ПИ. Иванова Татьяна, учитель (2–11 классы), 36 лет, переехала в Псков в 1979 г. Интервью взято 26.07.09.

ПИ. Смирнова Наталья, администратор Псковской Методистской церкви, 47 лет, приехала в Псков в 1979 г. Интервью взято 20.07.09.

ПИ. Лебедев, Иван, пенсионер, бывший горный инженер, 69 лет, переехал в Псков в 1947 г. Интервью взято 01.08.09.

ПИ. Темкина Светлана, экскурсовод (Музей забытых вещей), 59 лет, переехала в Вологду в 1969 г. Интервью взято 10.03.09.

Соколов Василий. Oxf/АНРС-SPb-07 PF 32. Расшифровки интервью сейчас обрабатываются для архивирования и будут храниться в Оксфордском Архиве живой русской истории: <<http://www.ehrc.ox.ac.uk/lifehistory/>>.

ПИ. Попов Александр, исследователь, 30 лет, уроженец Пскова. Интервью взято 01.08.09.

ПИ. Слава, солдат-контрактник, 35 лет, переехал в Псков в 1981 г. Интервью взято 22.07.09 и 25.07.09.

ПИ. Ткаченко Маргарита, преподаватель иностранного языка, Вольный институт, 54 года, приехала в Псков в 1973 г. Интервью взято 01.08.09.

Перевод с англ. Анны Ефремовой